

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Писемский

Фанфарон

«Public Domain»

1854

Писемский А. Ф.

Фанфарон / А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1854

«Губернией управлял князь ***. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:– Помещик Шамаев!– Просите, – сказал князь...»

© Писемский А. Ф., 1854

© Public Domain, 1854

Содержание

I	5
II	8
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Алексей Феофилактович Писемский

Фанфарон

Еще рассказ исправника

I

Губернией управлял князь ***. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:

– Помещик Шамаев!

– Просите, – сказал князь.

Я по обыкновению отошел за ширмы; названная фамилия напомнила мне моего кокинского исправника, который тоже прозывался Шамаев. «Уж не сын ли его?» – подумал я.

Вошел высокий мужчина, довольно полный, но еще статный, средних лет; в осанке его и походке видна была какая-то спокойная уверенность в собственном достоинстве; одет он был, как одевается ныне большая часть богатых помещиков, щеголевато и с шиком, поклонился развязно и проговорил первую представительную фразу на французском языке. Князь просил его садиться и начал с того, с чего бы начал и я.

– Не родственник ли вы кокинского исправника Шамаева?

– Я его родной племянник, ваше сиятельство, – отвечал тот.

– В таком случае, – продолжал князь, всегда очень любезный и находчивый в приеме незнакомых посетителей, – позвольте мне начать с того, что вашего почтенного родственника мы любим, уважаем, дорожим его службой и боимся только одного, чтоб он нас не оставил.

Шамаев поклонился.

– Мне, ваше сиятельство, – отвечал он, – остается только благодарить за лестное мнение, которое вы имеете о моем дяде и который, впрочем, действительно заслуживает этого, потому что опытен, честен и деятелен.

– Именно, – подтвердил князь.

На этом месте разговор, кажется, мог бы и приостановиться; но Шамаев сумел перевести его тотчас на другой предмет.

– Как хорош вид из квартиры вашего сиятельства; здесь этим немногие дома могут похвастаться, – сказал он, взглянув в окно.

– Да, – отвечал князь, – особенно теперь: ярмарка; площадь так оживлена.

– Мне кажется, ваше сиятельство, эта ярмарка скорее может навести грусть, чем доставить удовольствие, – заметил Шамаев.

– Почему ж вы так думаете?

– Она так малолюдна, бедна.

– Что ж делать?.. Все-таки она удовлетворяет местным потребностям.

– Для удовлетворения местных потребностей достаточно нескольких лавок и двух базарных дней в неделю; назначение ярмарок должно быть более важно: они должны оживлять край, потому что дают сподручную возможность местным обывателям сбывать свои произведения и пускать в движение свои капиталы, наконец обмен торговых проектов, соглашение на новые предприятия... но ничего подобного здесь нет.

– Здешняя губерния, – возразил князь, – ни по своему положению, ни по своей производительности не может иметь такого важного торгового значения, чтобы вызвать ярмарку в подобных размерах.

– Напротив, ваше сиятельство, – возразил, в свою очередь, Шамаев, – здешняя губерния могла бы иметь огромное торговое значение. Край здешний я знаю очень хорошо, и он в этом отношении представляет чрезвычайно любопытный факт для наблюдения. Одна его половина, которую я называю береговой, по преимуществу должна бы быть хлебопашною: поля открытые, земля удобная, средство сбыта – Волга; а выходит не так: в них развито, конечно, в слабой степени, фабричное производство, тогда как в дальних уездах, где лесные дачи идут на неизмеримое пространство, строят только гусянки, нагружают их дровами, гонят бог знает в какую даль, сбывают все это за ничтожную цену, а часто и в убыток приходится вся эта операция; дома же, на месте, сажени дров не сожгут, потому что нет почти ни одной фабрики, ни одного завода.

По этим словам Шамаева я заключил, что он должен быть капиталист-помещик, который затевает какое-нибудь значительное торговое предприятие и поэтому приехал объяснить с управляющим губернией. Князь был тоже, кажется, моего мнения, потому что сейчас же поспешил Шамаеву предложить сигару, который, в свою очередь, закурив ее, тоже не замедлил угадать ценность ее происхождения.

– Причина этому, ваше сиятельство, – мы, владельцы, потому что мы все-таки еще любим жить по старине: в нас совершенно нет ни коммерческого духа, ни предприимчивости. Все мы очень похожи на одного жида, которого я знал в Варшаве, который нажил огромное состояние и под старость лет с ума сошел: не знал ни счету деньгам, ни употребления, а только сидел в своей кладовой и дрожал, чтобы его не обокрали... Так и мы сидим у своих дач, очень богатых, надобно сказать, и у своих шкатулок, у кого они есть, и боимся рискнуть двадцатью пятью рублями серебром или срубить при порубке лишнее бревно; ну как, думаешь, лес-то и не вырастет больше?

– В этом случае кому-нибудь одному надобно показать пример, – сказал князь.

– И я так полагал, ваше сиятельство, и даже взялся быть этим примером, и был жертвой. Сначала я думал делать на акциях, как делается это в других местах; однако у меня их на сто целковых не раскупили. Я и на это не посмотрел; имея каких-нибудь двести душ, устраивал два самых удобных, по местным средствам, завода: сначала шло очень хорошо, а потом, при первых же двух-трех неудачах, не имея запасных капиталов, не выдержал – и со страшным убытком должен был бросить, тем более что постигло меня ничем не заменяемое несчастье: лишился жены, заниматься сам ничем не мог.

Говоря последние слова, Шамаев поднял глаза к небу, вздохнул, потупился и несколько времени молчал.

– Я, ваше сиятельство, – начал он потом, вставая и не совсем твердым голосом, – хоть до сегодняшнего моего представления и не имел чести быть вам знаком, но, наслышавшись о вашем добром и благородном сердце, решаюсь прямо и смело обратиться к вашему милостивому покровительству.

– Что такое? – спросил князь.

– Так как теперь, ваше сиятельство, я не имею никакого особенного занятия, а малютки сироты (при этом Шамаев опять вздохнул)... сироты мои, малютки, – продолжал он, – требуют уже воспитания и невольно вынуждают меня жить в городе с ними, и так как слышал я, что вакансия старшего чиновника особых поручений при особе вашего сиятельства свободна, потому желал бы занять эту должность и с своей стороны смею уверить, что оправдаю своей службой доверие вашего сиятельства.

Князь, как большая часть мягких и добрых людей, был почти неспособен отказывать просьбам, особенно так прямо и смело высказанным, как высказал свою Шамаев, но в то же время он был настолько опытен и осторожен в службе, чтобы не поддаваться же сразу человеку, совершенно не зная, кто он и что он такое.

– С большим удовольствием, – отвечал он, подумав, – но я это место уже предполагал заместить другим, и если только он не будет желать, то...

Шамаев поклонился.

– Стало быть, ваше сиятельство, я могу иметь некоторую надежду?

– Очень, очень, – отвечал князь, раскланиваясь.

Шамаев еще раз, и довольно низко, поклонился и вышел.

Князь позвал меня.

– Что это за господин, не знаете ли вы? – спросил он.

Я отвечал, что не знаю.

– Но, вероятно, его кто-нибудь знает здесь в городе, кого бы я мог спросить?

Я отвечал, что всего лучше спросить его дядю, исправника, который, конечно, его хорошо знает и скажет правду.

– Прекрасно, – сказал князь, – вы едете в Кокин, попросите Ивана Семеныча моим именем сообщить вам об его племяннике все подробности, какие вы найдете нужными, и все это передайте мне, а там увидим.

II

Через неделю я поехал в Кокин.

Ивана Семеновича не было в городе. Я написал ему записочку; он приехал.

– Я к вам, Иван Семеныч, с поручением, – начал я.

– Слушаю-с, – отвечал он.

– Во-первых, перед моим отъездом сюда к князю являлся ваш родственник – штаб-рот-мистр Шамаев.

– Слушаю-с, – повторил Иван Семенович.

– Во-вторых, – продолжал я, – он просится на место старшего чиновника особых поручений.

Иван Семенович почесал затылок.

– В-третьих, князь поручил мне расспросить вас о нем как можно подробнее; вы, конечно, хорошо его знаете.

Иван Семенович потер лоб.

– Как не знать! Очень уж хорошо знаю; только как вам рассказывать: правду ли говорить или нет?

– Разумеется, правду; а то хуже, князь узнает стороной; этим вы и себя скомпрометируете, да и меня подведете.

– Конечно, – отвечал Иван Семенович и начал ходить взад и вперед по комнате. – Ах ты, боже ты мой! Боже ты мой милостивый! – говорил он как бы сам с собой. – Немало я с этим молодцом повозился: и сердил-то он меня, и жаль-то мне его, потому что, как ни говорите, сын родного брата: этого уж из сердца не вырвешь – кровь говорит.

Несколько времени мы молчали.

– Ну-с, почтеннейший Иван Семеныч, я жду, – сказал я наконец.

– Да что, сударь! Не знаю, с чего вам и начать, – отвечал Иван Семенович. – Прежде всего, – продолжал он, – я хочу вам сказать об его отце, моем старшем брате, который был прекраснейший человек; учился, знаете, отлично в Морском корпусе; в отставку вышел капитаном второго ранга; словом, умница был мужчина. Каждое слово его имело вес; хозяин был такой, что эдакого другого в жизнь мою я уж больше и не встречал; все эти нынешние модные господа агрономы гроша перед ним не стоят. От каких-нибудь ста душ усадьба у него отделана была, как игрушечка: что за домик, что за флигеля для прислуги, какие дворы скотные, небольшие теплички, оранжерея, красный двор мощеный, обсаженный подстриженными липками, – решительно картинка, садись да рисуй! Скотоводство держал большое-с, и поэтому земля была удобрена, пропахана, как пух; все это, знаете, при собственном глазе; рожь иные годы сам-пятнадцать приходила, а это по нашим местам не у всех бывает; выезд у него, знаете, был хоть и деревенский, но щегольской; люди одеты всегда чисто, опрятно; раз пять в год он непременно ночью обежит по всем избам и осмотрит, чтобы никто из людей не валялся на полушубках или на голом полу и чтобы у всех были войлочные тюфяки, – вот до каких тонкостей доходил в хозяйстве! Редкостный, можно сказать, был помещик; это я говорю не потому, что он мне родной брат, а это скажет вам всякий, кто только знал его. Женился он по страсти, взял дочку бывшего губернского предводителя; состояния за ней большого не было; впрочем, брат за состоянием и не гнался: какое дали, и за то спасибо. Года в два он так поправил мужиков, что любо-дорого, и часто мне покойник, ходя этак со мной по усадьбе, говаривал:

– Вот, брат Иван, – говорит, – видишь, как я себя устроил. Кажется, все недурно, и как рассчитываю, по теперешним моим средствам, так хоть семь человек детей будет, всех смогу поднять и воспитать не хуже себя.

Однако, видно, человек предполагает, а бог располагает; супруга его вышла... не знаю, как вам и сказать об этой женщине: осудить ее, – чтобы не взять греха на душу, да и похвалить, пожалуй, не за что. Была бы она дама и неглупая, а уж добрая, так очень добрая; но здравого смысла у ней как-то мало было; о хозяйстве и не спрашивай: не понимала ли она, или не хотела ничем заняться, только даже обедать приказать не в состоянии была; деревенскую жизнь терпеть не могла; а рядиться, по гостям ездить, по городам бы жить или этак года бы, например, через два съездить в Москву, в Петербург, и прожить там тысяч десять – к этому в начальные годы замужества была неимоверная страсть; только этим и бредила; ну, а брат, как человек расчетливый, понимал так, что в одном отношении он привык уже к сельской жизни; а другое и то, что как там ни толкуй, а в городе все втрое или вчетверо выйдет против деревни; кроме того, усадьбу оставить, так и доход с имения будет не тот.

– В город, душа моя, – говорил он ей, – переехать не хитро; но ты вспомни, что состояние наше не шереметьевское: как этак начнешь помахивать туда да сюда, так и концы с концами не сведешь, придется занимать, а я в жизнь мою, – говорит, – ни у кого копейкой не одолжался.

Словом, не ехал-с из деревни. Так слезы, обмороки, болезни – притворные или нет, уж не знаю.

– Вы, – говорит, – заедаете мой век, я не так воспитана, я, – говорит, – человеческого лица здесь не вижу...

И так далее. Большие, слышу, стали выходить между ними из-за этого семейные неприятности; так что я, чтобы как-нибудь да посладить, начал брату, издалека, конечно, советовать, чтобы он хоть должность, что ли, какую-нибудь себе приискал, и, как полагаю, даже успел бы его убедить в этом, однако на пятый уж почти год их супружества она родила сына, этого самого, которого вы видели и которого в честь деда с материнской стороны наименовали Дмитрием. Ну, думаю, слава богу, не порассеются ли хоть этим? И действительно: точно переродилась женщина; в восторге, что сделалась матерью, сама захотела кормить младенца; все ночи не спит с ним; что чуть-чуть ребенок побольше разревется, в город скачи за доктором. Я тогда еще не служил, жил в деревне, и мы часто видались. Ну, сначала, я вижу, брату приятно было смотреть на эту ее материнскую нежность; а тут, как ребенок начал подрастать, так, пожалуй, нам с ним стало и не нравиться. Едва успела от груди отнять, как стала его пичкать конфетами; к чему мальчишка ни потянется, всего давай; тарашится на огонь, на свечку – никто не смей останавливать; он обожжет лапенку, заревет, а она сама пуще его в слезы; сцарапает, например, папенькину чашку – худа ли, хороша ли, все-таки рублей пять стоит, но он ее о пол, ничего – очень мило. С няньками тоже возня, беспрестанно меняет; та не умела занять ребенка, другая сердито на него смотрит, третья собой нехороша. Мальчишка едва папу с мамой выговаривает, давай гувернантку; ну, а это еще нынче легко: есть и няньки, и гувернантки недорогие; а в то время трудно было и найти; а уж коли нашел, так давай большую цену. Брат, однако, ее и в этом потешил, нанял, ни много ни мало, за восемьсот рублей француженку – рябая этакая девка, из себя нехорошая, но умная и, главное, хитрая; сразу смекнула, в чем дело, и давай вместе с маменькой баловать Митеньку; ну и бесподобно, значит; «не гувернантка, а друг дома», рассказывает всем; другу дома, стало быть, надобно платить вместо восьмисот тысячу. Между тем мальчишка подрастает, собой делается прехорошенький и довольно острый на словах, но шалун и резвый, как вы только можете себе представить. Восьмой год пошел, а за книгу лучше и не сажай, по-французски болтает бойко, а русскую грамоту читает, как через пень колоду валит, пишет каракулями, об арифметике и помину не было: вряд ли и считать-то умел, но зато лакомиться, франтить – мастер! Целое утро будет сидеть и не пошевелится, только завей ему волосы. Брат было пробовал сначала говорить, да где тут? Она прямо ему сказала: «Если ты будешь, говорит, кричать на Митеньку, так я не перенесу этого и безвременно лягу в могилу». И не лгала в этом случае: я сам был свидетелем подобной сцены. Подавали водку, только этот мальчуган, всего еще ему было не более четырех лет, подбежал, в минуту налил с краями ровно

рюмку да залпом всю и выпил. Брат, это увидевши, взял его, так, больше для шутки, за ухо: «Вот тебе, говорит, вот тебе, рано еще начинаешь», и так, знаете, легонько потянул его. Боже ты мой, как он рывкнет, и побежал к матери.

– Что такое? Что такое?

Он ревет да кричит:

– Ой, папаша, ой, папаша меня прибил.

Унимают, конфект обещают, ничего не берет и, должно быть, от слез да от водки-то побледнел этак, и дыханье у него захватило: и прошло, конечно, сейчас же, но надобно было видеть, какая с маменькою сделалась истерика: глаза остолбенели, рыдает, плачет, нас обоих бранит; видим, что она сама не вольна над своими чувствами. Из этой кроткой, можно сказать, женщины точно тигрицей какой сделалась; и это, сударь, каждый раз повторялось, как только что коснется до Митеньки.

Тут Иван Семенович приостановился немного.

– Слабоват, видно, характером был ваш брат или уж очень любил свою супругу, – заметил я ему.

– Любил он, конечно, ее любил, – отвечал он, – но не слепо; в других случаях, как я вам и докладывал, не все делал по ней, и что до характера его касается, так совершенно напротив – в этом отношении он был настоящий семьянин: твердый, настойчивый, любил порядок, смолоду привык, чтобы все делалось по нем, а тут ничего не мог сделать... Эх, милостивый государь, – продолжал Иван Семенович, покачав головою, – я могу вам при этом повторить слова того же покойного моего брата: «Супружество, – говаривал он, – есть корабль, который, чтоб провести благополучно между всеми подводными камнями, лоцману нужна не только опытность, но и счастье». Не знаю, конечно, успел ли бы он впоследствии повести по-своему, потому что бог веку долгого не дал.

– Помер он?

– Да-с, действовали ли на него эти душевные неприятности, которые он скрывал больше на сердце, так что из посторонних никто и не знал ничего, или уж время пришло – удар хватил; сидел за столом, упал, ни слова не сказал и умер. Этот проклятый паралич какая-то у нас общая помещичья болезнь; от ленивой жизни, что ли, она происходит? Едят-то много, а другой еще и выпивает; а моциону нет, кровь-то и накапливается.

– Что же, как вдова осталась? – перебил я, желая перейти к главному сюжету рассказа.

– Очень была огорчена, – продолжал Иван Семенович. – «Один, говорит, Митенька только привязывает меня к земле; а если бы его не было, так и жить бы без моего друга не хотела».

Меня покойник назначил попечителем до совершеннолетия малолетка. Выждал я первое время; но потом слышу, что француженка от Мити отходит, поссорилась с маменькой. В чем это, думаю, у них вышло? Впрочем, та, отошедши, заезжает ко мне. Спрашиваю ее:

– Что такое у вас?

– Помилуйте, – говорит, – Иван Семеныч, я в стольких домах жила, мне везде детей поручали в полное распоряжение, и нигде еще я не употребляла во зло этой доверенности; но, вы сами знаете, какой же я была гувернанткой в доме Настасьи Дмитриевны? Я скорее была рабой ее Митеньки, и видит бог, что сил моих больше не доставало. Этот мальчик до того уж простер свою дерзость ко мне, что на днях нарочно облил все мое новенькое платье деревянным маслом, и я просила Настасью Дмитриевну позволить мне только поставить его в угол, она и этого не хотела сделать и мне же насказала самых обидных колкостей.

Я только покачал головой. Что прикажете делать с подобной маменькой? Еду к ней, и первое ее слово:

– Замечаете ли вы, братец, как Митенька у меня растет? Не правда ли, какой красавчик?

И говорит это, знаете, при самом мальчишке, который тут стоит и которому, как заметно по лицу, очень приятны эти слова, носенок так вверх и дерет.

– Вижу, – говорю, – сестрица, и радуюсь, но ведь это что же? Рост бог дает всем, а теперь, по-моему, главное надобно подумать о воспитании его. Гувернантка от вас отошла, учителя тоже никакого нет, не пора ли его пристроить в казенное заведение?

– Ах, нет, – говорит, – братец, я теперь и думать об этом не смею: вы не поверите, как он слаб здоровьем; прежде я должна его здоровье еще поправить.

Я усмехнулся: малый, как кровь с молоком, здоровее меня.

– Я, – говорю, – сестрица, не вижу, чтобы он был особенно слаб или нездоров; это пустяки, тебе так мерещится, и не знаю, известно ли тебе, что покойный брат его записал в Морской корпус, куда он, вероятно скоро и будет принят, а потому я советовал бы отправить его в Петербург, хоть покуда приготовить немного.

Вся побледнела от этих слов.

– Нет, – говорит, – братец, я решительно не хочу отдать его в корпус: при его комплекции... там такая строгость!

– Да что же такое, – говорю, – моя милая, комплекция и строгость! Там воспитываются дети понежней и получше наших с тобою.

– Ни за что на свете: должен будет поступить в военную службу, куда-нибудь зашлют, пошлют в сражение, убьют; у меня при одном воображении об этом делается лихорадка.

– Эти еще сражения, – говорю, – сударыня, далеко впереди, а теперь надобно хлопотать, чтоб он не остался безграмотным недорослем.

– Братец, – перебила она, – позволь мне тебя просить предоставить мне самой думать о воспитании моего сына. Худа ли, хороша ли, но я мать, и ты, как мужчина, не можешь понять материнских чувств. Я решилась во всю мою жизнь не расставаться с ним; в этом мое единственное блаженство. Теперь я наняла для него гувернера.

Меня это уж взорвало, знаете.

– Желаю, – говорю, – тебе, сударыня, наслаждаться этим блаженством. С твоими гувернерами смотри только не вынынчай себе на шею болвана.

– Равным образом, братец, болванами могут быть и ваши дети, – говорит она мне наоборот, чтобы уколоть меня.

Уезжаю я. Гувернер, говорят, приехал, француз какой-то. У нас в городе пробыл двое суток и все это время в нашем дрянном трактиришке, с двумя выгнанными приказными, пил и играл на бильярде; и те его на прощанье отдули киями, потому что он проигрался, напил, наел, а расплатиться нечем. Славный, вижу, малый, но так как невестушка на меня изволит сердиться: ни сама не ездит, ни пишет, ни людям не велит заходить, стало быть, я ничего не мог сделать. Однако через год или меньше после этого времени вдруг она приезжает ко мне и с Митенькой, которому, заметьте, уже лет четырнадцать стукнуло. Очень рад, конечно.

– Я, – говорю, – братец, Митеньку в гимназию везу.

– Доброе, – говорю, – дело: нынче в гимназиях очень хорошо учат. А что же, прибавляю, гувернер твой?

– Ах, – говорит, – братец, не говорите мне про этого человека. Это чудовище какое-то! Как я за ним вначале ни ухаживала – лелеяла его, можно сказать; он ничего этого не оценил. Вообрази, мой дружок, он Митю, который именно как младенец еще невинен, начал по ночам возить с собой на мужицкие поседки. Я как узнала, так и обмерла; и как, надобно сказать, ребенок кроток и благороден: он никак мне про своего учителя не хотел открыть этого.

Я рассмеялся.

– Славный, – говорю, – наставник.

– Ужасный, – говорит, – братец, человек! Но это еще не все; ты посмейся, он даже мне вздумал делать куры.¹

– Вот видишь ли, – говорю, – сестрица: ты тогда на меня сердилась, а, значит, я говорил правду. Хорошие гувернеры дороги, да к тебе в деревню и не поедут; а шарлатаны эти добру не научат.

– Вижу, – говорит, – голубчик мой, все теперь вижу и потому решила отдать Митю в гимназию, пускай тут учится; найдем квартиру, и сама с ним буду жить.

– Зачем же сама-то жить! Это уж, говорю, по-моему, и лишнее бы.

– Отчего же, – говорит, – дружок мой, лишнее? Чей же, говорит, надзор может быть лучше, как не самой матери?

– Это так, – говорю, – только не твой, моя милая сестрица; я знаю наперед: Митенька, например, заленится в класс идти; а ты, вместо того чтобы принудить его, еще сама его оставишь, будешь ко всем учителям ездить да кланяться; а он на это станет надеяться, а потому учиться-то не будет и станет шалить.

– Что это, братец, ты всегда был для меня каким-то злым пророком; бог с тобой! Я этого переменить не могу, так уж решила!

– Ваше дело, – говорю, – как знаете, так и делайте.

Отправились. Живут там. Мой старший сын Петруша, ровесник Дмитрию-то, тоже тогда в гимназии учился. Спрашиваю его, когда этак на каникулы приезжает:

– Каково племянничек подвизается?

– Да что, – говорит, – папенька, все в третьем еще только классе: два года не перешел.

– Что же, – говорю, – способностей, что ли, у него нет, или ленится?

– Нет, какое, – говорит, – способностей нет, ничего не занимается, потому что некогда: все по маскарадам да по балам маменька возит, танцует как большой; одна шуба, говорит, у него, папенька, лучшая во всей гимназии – хорьковская, с бобровым воротником, у директора этакой нет, на вицмундире сукно меньше как в двадцать рублей не носит, а штатского-то платья сколько! Все в сюртуках да во фраках щеголяет. Лошадь у него отличная, чухонские сани с полостью, и, когда в гимназию едет, всегда сам правит.

«Вот тебе и собственный надзор маменькин, – думаю, – хорош!» – Ну, однако, с течением времени Петруша мой кончает своим порядком курс и поступает в Демидовское², и пишет мне, между прочим, что Дмитрий Никитич тоже не хочет учиться в гимназии и поступает в Демидовское из четвертого класса; самолюбие, знаете, разыгралось! Не хочется от сверстников отстать; только дурно, что прямо не принимают, надо наперед приготовить. Нанимает ему маменька самого лучшего профессора за тысячу рублей. Ради этих расходов большая часть имения закладывается. Год проходит, тысяча заплачена; но наступает экзамен, и малый наш хоть бы в одном предмете выдержал. Демидовское, значит, не годится; переезжают в Москву, в университет поступать; ждем, не будет ли там толку, но и там не понравилось. Получаю я от нее преотчаянное письмо: пишет, что Митенька учиться больше не желает, потому что ходил в университет вольным слушателем и что все уж узнал, чему там учат, а что теперь намерен поступить в военную службу, в гусары. «Представьте, братец, мое ужасное положение, – прибавляет она, – чего всегда прежде опасалась, то должно исполниться; только и надежды на бога да на вас. Не напишете ли вы Митеньке письмо, не отсоветуете ли вы ему идти в военную службу, а поступить в депутатское собрание?»

Подумал я, порассудил, потолковал с женою. «Что же, думаем, отсоветовать, для чего и для какой цели!» – и ответил ей таким образом, что по желанию твоему, милая сестрица, я не пишу Дмитрию, ибо это совершенно бесполезно. Он от самого своего рождения никого

¹ ...делать куры – ухаживать (от французского faire la cour).

² ...поступает в Демидовское – училище правоведения в Ярославле.

и ни в чем еще не послушался; а за намерение его идти в военную службу надобно благодарить бога, потому что там его по крайней мере повымуштруют и порастрясут ему матушкины ватрушки; но полагал бы только с своей стороны лучшим – поступить ему в пехоту, так как в кавалерии служба дорога; записывать же его в депутатское собрание – значит продолжать баловство и давать ему возможность бить баклуши. Думал, что за это письмо она по обыкновению рассердится; однако нет. Нежданно-негаданно прикатила сама из Москвы, заезжает ко мне и говорит, что, возложивши упование на господу бога, она решилась отпустить Митю в службу и потому едет с ним в Малороссию, где и думает пожить, а «так как, говорит, имение остается без всякого надзора, то умоляю тебя, друг мой, принять его в свое распоряжение». Я только развел руками.

– Безрассудная, – говорю, – ты женщина, сестрица! Зачем же ты сама-то едешь за этакую даль в твои лета? И как ты будешь жить с сыном-юнкером, и где, по деревням, что ли, с ним, или в казармах? Знаешь ли ты, какого рода эта жизнь?

Заткнула уши и слушать не хочет. Просидела, как на иголках, один вечер и куда-то скрылась, больше уж и не видал; а сказывали, что целым обозом уехала куда-то за Москву. Именье, однакож, принял и потом, видевши большие во всем запущения, только, знаете, хотел было немного поустроить, не тут-то было: через месяц какой-нибудь получаю от них письмо, умоляют, чтобы прислал тысячу рублей серебром. Что угодно, пишут, могу из именья продать, только, бога ради, не остановить, потому что без этого Митеньку в полк не принимают. Делать нечего; взял и продал лучшую отхожую их пустошь, выслал им тысячу рублей. Думаю, по крайней мере теперь поугомонятся. Ничего не бывало; как начали, сударь мой, почти чрез каждую почту жарить меня: «Бесценный братец, многоуважаемый дядюшка, вышлите денег, соберите оброки или займите где-нибудь». Только в том и письма состоят. Выслал еще раза два; терпение, наконец, лопнуло, написал им предерзкое письмо. «Вероятно, вы, – пишу им, – не умеете считать, что ожидаете оброков, когда они получены мною уже за целый год вперед; а если вы, мои милые, думаете, что в вашей усадьбе или в какой-нибудь из деревень ваших открыты золотые рудники, так вы ошибаетесь. Нет у меня про вас больше денег». Осердились. Получаю на это ответ от одного уж племянника, очень вежливый, но холодный. Извиняется, что обеспокоили меня управлением имения, и потому его нынче поручают своему старосте. Ну, думаю, мне же лучше: кума с возу, куму легче. Прошло таким делом года четыре – ни слуху ни духу от моей родненьки; только один раз прогуливаюсь я по нашему базару, вдруг, вижу, идет мне навстречу их ключница, Марья Алексеевна, в своей по обыкновению заячьей китайской шубке, маленькой косынкой повязанная; любимая, знаете, из всех людей покойным братом женщина и в самом деле этакая преданная всему их семейству, скопидомка большая в хозяйстве, неглупая и очень не прочь поговорить и посудить о господах, с кем знает, что можно.

– Марья Алексеевна, – говорю, – мое вам почтение.

Она подошла ко мне и, как водится, поцеловала меня в плечо.

– Зачем и про что изволили пожаловать к нам в город?

– Запасов, сударь, – говорит, – кой-каких приехала закупить: чаю, кофею, сахару для дому.

– Да что, сама, что ли, вздумала чайничать да кофейничать?

– Никак нет, сударь, для госпожи, – говорит.

– Как для госпожи? Барыня разве здесь?

– Как же, сударь, – говорит, – месяца полтора, как прибыли.

– Хорошо, – говорю, – а мне и весточки не дадите.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.